

INSPIRIA

ПОЙМАТЬ ЗАЙЦА



18+

ЛАНА БАСТАШИЧ



INSPIRIA

Лана Басташич

Поймать зайца

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65714182

Поймать зайца: Эксмо; Москва; 2021
ISBN 978-5-04-117812-3

Аннотация

Куда бы мы ни отправлялись, мы всюду берем с собой себя.

Сара двенадцать лет не слышала от подружки детства ни слова. Но однажды та внезапно выходит на связь и просит Сару вернуться в родную Боснию, чтобы отвезти ее на встречу с братом, пропавшим много лет назад: просьба, в которой Сара, несмотря ни на что, не может отказать.

Давним подругам, чьи пути давно разошлись, предстоит совершить последнее совместное путешествие через половину Европы, снова пережить общие, но совершенно разные воспоминания, вскрыть старые раны и понять, что их когда-то связывало и что в итоге развело.

Содержание

От переводчика	7
1.	8
2.	28
3.	52
4.	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Лана Басташич

Поймать зайца

Lana Bastašić
UHVATI ZECA

Copyright © Lana Bastašić, 2018

Copyright © Edicions del Periscopi SL, 2020

All rights reserved by and controlled through Edicions del Periscopi, Barcelona.

This edition by arrangement with SalmaiaLit.

Перевод с сербского Ларисы Савельевой

Художественное оформление Яны Паламарчук

© Савельева Л., перевод на русский язык, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *



ЛАНА БАСТАШИЧ

ПОЙМАТЬ
ЗАЙЦА



INSPIRIA

Москва

От переводчика

Роман «Поймать зайца» написан особым стилем и не поддается традиционному критическому анализу.

Язык молодого автора аутентичен и своеобразен. Порой он изысканный и утонченный, порой – грубый и яркий. Переводчик старался передать оригинальный стиль автора, максимально сохраняя кажущийся иногда странным порядок слов и пунктуацию оригинала. Поэтому читателя следует предупредить – Зайца поймать нелегко, будь то Заяц из сказки Льюиса Кэрролла, или Заяц с картины Дюрера, или белый кролик, которого когда-то купили две девочки.

– Я с удовольствием расскажу все, что случилось со мной сегодня с утра, – сказала неуверенно Алиса. – А про вчера я рассказывать не буду, потому что тогда я была совсем другая.

– Объяснись, – сказала Черепаха Квази.

– Нет, сначала приключения, – нетерпеливо перебил его Грифон. – Объяснять очень долго.
Льюис Кэрролл. Алиса в Стране чудес

1.

чтобы мы начали с начала. У тебя кто-то есть, а потом его нет. И это примерно вся история. Вот только что бы ты сказала, если ты не можешь *иметь* другого человека. Или употребить слово *она*? Может, так лучше, это бы тебе понравилось. Быть *она* в какой-нибудь книге. Хорошо.

Она бы сказала, что ты не можешь кого-то *иметь*. Но она была бы не права. Можно обладать людьми за постыдную малость. Только ведь она любит рассматривать себя как необходимое правило для функционирования всего космоса. А истина в том, что ты *можешь* иметь кого-то, но только не ее. Ты не можешь иметь Лейлу. Разве что только если ты ее прикончишь, вставишь в рамочку и повесишь на стену. Хотя остаемся ли мы собой и дальше, если вдруг остановимся? Одно знаю наверняка: остановка и Лейла никогда не были вместе. Поэтому она всегда смазана на всех и каждой фотографиях. Она никогда не умела останавливаться.

Даже сейчас, внутри этого текста, я чувствую, как она мечется. Если бы могла, она заползла бы ко мне между двумя фразами, как заползает моль между двумя планками жалюзи, и уничтожила бы мне историю изнутри. Себя бы передела в поблескивающие тряпки, которые ей всегда нравились, сделала бы ноги длиннее, грудь больше, добавила бы волосам волнистости. А меня бы изуродовала, оставила на квад-

ратной голове всего несколько свисающих кудряшек, надела дефектом речи, добавила хромоту левой ноги, придумала врожденную деформацию, из-за которой я всегда роняла бы карандаш. Возможно, сделала бы и следующий шаг, она способна на такую подлость – возможно, она бы вообще меня не упомянула. Сделала бы из меня неоконченный эскиз. Ты бы это сделала, правда? Пардон, *она*. Это бы *она* сделала, будь она здесь. Однако та, кто рассказывает эту историю, – я. Я могу с ней сделать все, что пожелаю. Она мне не может сделать ничего. *Она* – это три нажатия на кнопки клавиатуры. Я могла бы прямо сегодня вечером бросить лэптоп в безмолвный Дунай, тогда и она исчезнет, ее хрупкие пиксели вытекут в ледяную воду и унесут в далекое Черное море все, чем она когда-то была. Предварительно обойдя стороной Боснию, как графиня обошла бы нищего на пути к оперному театру. Я могла бы покончить с ней этой фразой, так чтобы ее больше и не было, чтобы она исчезла, превратилась в блеклое лицо на коллективной фотографии выпускников школы, чтобы ее не вспоминали в городских легендах наших школьных дней, чтобы что-то смутное о ней можно было увидеть лишь в маленьком холмике земли, который мы оставили, там за ее домом, рядом с черешней. Я могла бы убить ее точкой.

Выбираю продолжить, потому что могу и хочу. Здесь я по крайней мере уверена, вдалеке от ее изощренного насилия. По прошествии целого десятилетия возвращаюсь к своему

языку, к ее языку и всем остальным языкам, которые я, как насильно навязанного мне мужа, однажды в Дублине во второй половине дня по своей воле покинула. После стольких лет я не уверена, какой точно это был язык. А все из-за чего? Из-за совершенно обыкновенной Лейлы Бегич в поношенных кроссовках на липучках и джинсах, ей-богу, с цирконами на заднице. Что вообще между нами произошло? Важно ли это? Хорошие истории и так никогда не бывают про то, что происходит. Остаются лишь картинки вроде рисунков на тротуаре, годы капают на них как дождь. Может быть, надо бы сделать про нас детскую книжку с картинками. Что-то такое, что никто, кроме нас с ней, не поймет. Но и книжки с картинками должны с чего-то начинаться. Хотя наше начало – это не только молчаливый слуга хронологии. Наше начало было и проходило несколько раз, оно тянуло меня за рукав как голодный щенок. *Давай. Давай начнем опять.* Мы непрестанно начинали и заканчивали, она проникала в мембрану моей повседневности как вирус. Входит Лейла, выходит Лейла. Могу начать где угодно. Например, в парке святого Стефана в Дублине. Телефон вибрирует в кармане пальто. Незвестный номер. Тогда я нажимаю на эту проклятую кнопку и говорю «Да?» на языке, который не мой.

«Алло, ты».

После двенадцати лет полной тишины я снова слышу ее голос. Говорит быстро, будто мы только вчера расстались, без всякого желания навести мосты через разрыв в знании

фактов, в дружбе, в хронологии. Могу произнести только одно-единственное слово: «Лейла». Она, как обычно, не закрывает рта. Упоминает ресторан, работу в ресторане, какого-то типа, чье имя я слышу впервые. Упоминает Вену. Я и дальше произношу только «Лейла». Ее имя на первый взгляд было безобидным – крохотный стебелек посреди мертвой земли. Я вырвала его из своих легких, думая, что это ерунда. Лейла. Но с этим невинным растением из жидкой грязи вылезли длинные и толстые корни, целый лес букв, слов и фраз. Целый язык, похороненный глубоко во мне, язык, который терпеливо ждал этого короткого слова, чтобы расправить свои окостеневшие конечности и встать, будто никогда и не спал. Лейла.

«Откуда у тебя этот номер?» – спрашиваю я. Стою посреди парка, замерла прямо под дубом и не шевелюсь, будто жду, что дерево подвинется в сторону и даст мне пройти.

«Сейчас это не важно, – отвечает она и продолжает свой монолог: – Слушай, ты должна приехать за мной... Ты меня слышишь? Слабый сигнал».

«Приехать за тобой? Не понимаю. Что...»

«Да, приехать за мной. Я по-прежнему в Мостаре».

По-прежнему. За все годы нашей дружбы она ни разу не упомянула Мостар, мы с ней никогда там не бывали, а теперь он вдруг представляет собой неоспоримый, общеизвестный факт.

«В Мостаре? Что ты делаешь в Мостаре?» – спрашиваю я. Продолжаю смотреть на дерево и мысленно считаю годы. Сорок восемь времен года без ее голоса. Знаю, что я куда-то отправилась, та моя траектория была связана с Майклом, и занавесками, и аптекой... Но Лейла сказала «Стоп» – и все остановилось. Деревья, трамваи, люди. Как усталые актеры.

«Слушай, это длинная история, Мостар... Ты ведь по-прежнему за рулем, да?»

«Да, за рулем, но я не понимаю, что... Тебе известно, что я в Дублине?» Слова вываливаются у меня изо рта и прилипают к пальто, как репы. Когда я в последний раз говорила на *этом языке*?

«Да, ты очень важная особа, – говорит Лейла, уже готовая поставить под сомнение ценность всего, что могло со мной происходить в ее отсутствии. – Живешь на острове, – говорит она, – и, должно быть, целыми днями читаешь какую-нибудь скучную книжищу, и ходишь на бранч со своими умными друзьями, да? Супер. Ладно, слушай... Ты должна приехать за мной как можно скорее. Мне нужно в Вену, а эти здешние мартышки забрали у меня права, и всем плевать, что я должна...»

«Лейла». – Я пытаюсь прервать ее. Даже спустя все годы мне совершенно ясно, что происходит. Это та самая ее логика, соответственно которой, если кто-то толкнет тебя на лестнице и ты покатишься вниз, виновата будет гравитация, а все деревья посажены для того, чтобы она за любым могла

попы́сать, а все дороги, какими бы кривыми и длинными они ни были, имеют одну точку пересечения, один общий узел – ее, Лейлу. Рим – это ерунда.

«Слушай, у меня нет времени. Я действительно не могу попросить никого другого, все отбрехиваются, что заняты, правда, у меня и нет здесь особо много знакомых, а Дино не может вести машину из-за колена...»

«Дино – это кто?» «...так что я прикинула, если ты улетишь в Загреб еще в эти выходные, а там сядешь на автобус, правда, Дубровник был бы лучшим вариантом».

«Лейла, я в Дублине. Я не могу просто взять и поехать за тобой в Мостар, а потом отвезти в Вену. Ты в своем уме?»

Она некоторое время молчит, воздух вырывается из ее ноздрей и бьется о телефон. Кажется, будто терпеливая мать всеми силами борется с желанием вклеить своему ребенку оплеуху. После нескольких минут ее тяжелого дыхания и моего наблюдения за упрямым дубом она произносит только два слова: «Ты должна».

В этом нет никакой угрозы. Звучит скорее, как когда врач говорит, что ты должна бросить курить. И меня не злит ни это ее «должна», ни то, что она мне позвонила через двенадцать лет и даже ни разу не спросила «как дела», ни то, что она посмеялась над целой жизнью, которую я придумала себе за прошедшее время. Впрочем, это и была классическая Лейла. Но то, что где-то в ее резком голосе скрывалась абсолютная уверенность, что я соглашусь, что мне некуда де-

ваться, что моя судьба была решена до того, как я ответила на этот проклятый звонок, меня унижает.

Я прерываю связь и сую мобильник в карман. Даже боги, какими бы примитивными и бессмысленными они ни были, дают право на свободу воли. Смотрю на дерево и медленно дышу, я больше не верю этому воздуху. Я загрязнила его *своим языком*. Пересказываю сама себе всю сцену так, как преподнесу ее Майклу, когда приду домой. Представляешь, скажу я, одна моя подруга из Боснии звонит мне сегодня и спрашивает... Подбираю слова на чужом языке, вывязываю их и перекручиваю петли таким образом, чтобы ни лучик света не смог пробиться сквозь плотную вязку. И как раз когда мне кажется, что я знаю, как это пересказать, как лишить Лейлу всякого значения, когда мне кажется, что вдалеке проехало несколько автомобилей, что на периферии зрения люди снова задвигались, когда ветер вернулся в крону дуба, она звонит мне опять.

«Сар, послушай меня. Прошу тебя», – говорит она тихо. Мое имя, деформированное звательным падежом, о существовании которого я уже забыла, звучит как эхо из заброшенного колодца. Я ее знаю. Сейчас она снова безобидная веточка, снова кто-то, чьи руки настолько деликатны, что вы бы не побоялись передать ей на хранение и собственный мозг.

«Лейла, я в Дублине. Я здесь живу, не одна. У меня есть обязанности. Я не могу ехать в Мостар. О'кей?»

«Но ты должна».

«Тебя не было десять лет. Ты не отвечаешь на мейлы. Не звонишь. Насколько мне известно, ты могла бы быть уже где-то похоронена, в какой-нибудь пиздобине. В последний раз, когда мы с тобой виделись, ты предложила мне валить к ебеной матери».

«Я не говорила тебе, чтобы...»

«О'кей, супер. Без разницы. И тут вдруг ты звонишь и ждешь, что я вдруг...»

«Сара, Армин в Вене».

В ветвях надо мной все птицы превратились в камень. Земля у меня под ногами рыхлая, я врасу в нее прямо перед дубом, которому будет легко от меня убежать. Чувствую на себе взгляды двух ворон с ближайшей березы. Почти надеюсь, что они спикируют мне на голову, выключают глаза, оторвут уши и язык. Но они не могут – окаменели.

«Что ты сказала?» – спрашиваю ее. На этот раз потише. Боюсь, что ее голос исчезнет, испугается и убежит от меня как таракан.

«Армин в Вене, – говорит она снова. – Ты должна за мной приехать».

Я захожу в первый же Старбакс и через Интернет покупаю билет до Загреба с пересадкой в Мюнхене за пятьсот восемьдесят шесть евро.

[Она никогда не хотела говорить о своем брате. Но той ночью что-то было иначе, что-то в ней сломалось, как ломается жидкая изгородь из прутьев. Это был первый понедельник, после того как мы получили дипломы, одна из тех недель когда для тебя должна начаться жизнь или хотя бы иная фаза жизни. Я все выходные ждала, что буду чувствовать себя как-то по-другому. Ничего не произошло. Как будто кто-то продал мне дрянную травку.

Мы сидели на диване в ее комнате. До нас доносилось тягостное мяуканье уличных кошек.

«Двадцать марок, – сказала она, проведя рукой по коричневому плюшу, который вызывающе протянулся между нами. – Пришел человек, заново перетянул».

«А раньше-то он был какого цвета?» – спросила я. Я в сто какой-то раз, сидела у нее в комнате, но не могла вспомнить никакого не коричневого варианта цвета дивана.

«Да бежевого же, – ответила она. – Неужели не помнишь?»

Мне это казалось недопустимым: она и бежевый. Она никогда не была персоной, сочетающейся с бежевым. Такие люди тихи и обыкновенны. Я не решилась спросить у нее о цвете тех пятен, которые, я в этом уверена, за несколько лет, что я у нее не бывала, пачкали тот слишком светлый диван. В основном я молчала. Я была вся на нервах. После того дня на острове она перестала со мной общаться. Три года университета на факультете без единого слова. А сейчас я вдруг

сидела на ее диване, сломалась при первом же приглашении.

Кажется, мы пили вино, хотя мне не хотелось ничего алкогольного. Лейла налила мне полный бокал и сказала решительно, но все же нежно: «Пей». И я пила. Вино или что-то другое, не помню. Знаю только, что ее черная голова на моем плече была неожиданно тяжелой. Я говорю «черная», потому что для меня она была и осталась взъерошенной вороной из средней школы, несмотря на всю перекись водорода, что она в последние годы тратила на камуфляж. Помню, что в ее глазах подрагивало отражение маленького окна, за которым была разлита густая темнота. Помню и то, что ее красивый брат смотрел на нас с единственной фотографии в комнате. Время сделало бледными его щеки, небо и купальные шорты. И что еще? Каким был ковер? Да и вообще, был ли у нее ковер? Свисала ли с потолка отвратительная лампа с фальшивыми черными жемчужинами, которую она когда-то купила в Далмации? Или она от нее давно избавилась? Откуда я знаю? Я не могу объяснить себе Лейлу тем, что опишу ее комнату. Это то же что описывать яблоко с помощью математики. Помню только ее голову и то, что намазанный лаком ноготь большого пальца высывался из дырки в нейлоновом чулке... Помню ее брата. Не будь той фотографии, не было бы и жизни в этой комнате.

Ее мать стучала кастрюлями в кухне, с которой мы делили лишь кусочек стены. Думаю, я сказала какую-то глупость, нечто, что в тот момент показалось мне остроумным:

«Неужели мама готовит тебе еду, ты что, еще маленькая?» – или что-то вроде того, и Лейла добродушно засмеялась, я, впрочем, сама была в такой же ситуации. Таким, как мне кажется, тогда был город: наполненный взрослыми детьми и седыми, сторбленными матерями.

Почему я вообще пришла к ней той ночью? Я хотела ее проигнорировать, не бежать, стоит ей свистнуть. Но в то утро на холодных плитках ванной комнаты она нашла своего белого зайца мертвым. Я говорю «холодных» – кто-нибудь однажды это исправит. Скажет, что я там не была и их не трога-ла, откуда мне знать, что плитки были холодными? Но я кое-что знаю о ее зайце и ванной комнате, и пальцах, вечно та-ких горячих, что казалось, их температура близка к трид-цати восьми по Цельсию. Знаю, что, скорее всего, она была в тапочках с меховыми помпонами абрикосового цвета и что присела на корточки, чтобы дотронуться до его тельца. Знаю и то, что она подумала «тельце». Не «труп». Вижу пятна на ее шишковатых коленях.

У него никогда не было официального имени. Он был Заяц, Зеко или Зекан, в зависимости от Лейлиного настроения. Помню, мы его закопали во дворе, за ее домом, под старой черешней, которую она называла радиоактивной. Это был первый раз, когда я хоронила какое-то животное.

«Неправда. А твои черепахи?» – спросила она меня почти с отчаянием. Помню, что руки у нее были полны мертвым Зайцем и как она его держала – как драгоценное приданое –

в голубом пакете для мусора.

«Черепахи не считаются, – сказала я. – Сама знаешь, какими они были, пять-шесть сантиметров в диаметре, как олады. Вряд ли мне это зачтется как стаж могильщика».

«И что нам делать?»

Сосед дал нам лопату, подумал, что мы сажаем клубнику. Это был небольшой инструмент, для взрослых – просто игрушка. На то, чтобы выкопать достаточно большую яму, ушло лет сто. Я хотела ее упрекнуть за размеры покойника, но в тот день проглотила свои нравоучения. Лейла казалась какой-то маленькой и напуганной, будто слишком рано выпавшей из гнезда.

Мы опустили пакет с Зеканом в небольшую могилу. Мелкие корни, пробившиеся из земли, обвили мертвое тельце своими тонкими пальцами, а потом потянули в глубину, в свою холодную утробу. Когда все было кончено, я положила сверху на землю два белых камня, чтобы обозначить место захоронения, на что она, как и следовало ожидать, закатила глаза.

«Давай, скажи что-нибудь», – проговорила она.

«Что сказать?»

«Все равно. Ты поставила ему памятник, теперь нужно сказать несколько слов».

«Почему я?»

«Ты поэт».

Какая подлость, подумала я. Один довольно жалкий сборник стихов – и я уже должна произносить прощальные речи над отравленными зайцами. Но, приняв во внимание ее потерянный взгляд и белые руки, так горестно свободные от Зекана, я кашлянула и, тупо уставившись на два тихих камня, вытащила откуда-то, из какой-то прошлой жизни, подходящие строки:

Говорите тихо и кратко.

Чтобы мне вас не слышать.

Особенно о том, как умен был я.

Чего же я хотел?

Мои руки пусты, печально лежат на покрывале.

Раздумывал ли я о чем-то?

На моих губах сухость и отчужденность.

Испытал ли я что-нибудь?

О, как сладко я спал!

Тогда, сдается мне, она заплакала, а может, не заплакала – я не уверена. Было очень темно, может ее глаза просто блеснули в уличном свете. Если она это прочитает, разозлится, скажет мне, что я сентиментальная корова, что она никогда не плачет. Как бы то ни было, стихи сделали свое дело, поставили точку в неоконченной главе не хуже, чем это делает какой-нибудь университетский диплом.

Меня мучила совесть из-за того, что я вынудила ее подумать, что эти стихи мои. Но в тот момент, с мертвым Зайцем

под землей и Лейлой над ней же, любое авторство не имело для меня особого смысла. Стихи были как сбежавшие от алтаря невесты, освободившиеся от Алваро де Кампуша – который, впрочем, никогда и не существовал, так же как и та наша клубника, – освободившиеся от Лейлы и от меня, от горстки холодной земли с двумя каменными глазами, свободные в какой-то момент быть, а уже в следующий нет.

Не могу вспомнить, вернули ли мы соседу лопату, сказали ли ему что-нибудь. Знаю только, что позже в тот же вечер ее голова тяжело лежала на моем не приспособленном для этого плече и что я прокляла и себя, и это плечо, и коричневый плюш, который затвердел между нами, как асфальт. Мы смотрели на ее бледного брата между четырьмя полосками бумажной окантовки, а ее мать громыкала на кухне.

Лейла сказала: «У нее и сейчас есть фотография Тито. В кладовке, за банкой с маринованными овощами. Если посмотреть внимательно, виден его глаз между двумя перцами».

Я улыбнулась, хотя мне было не до смеха. Мне всегда были невыносимы эти неслышные ностальгирующие люди и непробиваемый пузырь, в котором они проживают свои лучшие, более счастливые версии жизни в какой-то стране, где всегда растет клубника, а зайцы не умирают. В стране, о которой они могут твердить, что она была само совершенство, потому что у нас они отняли возможность проверить это утверждение. Ее мать я в своей жизни гораздо чаще слы-

шала, чем видела. Так же было и той ночью. Спустя некоторое время кастрюли замолкли, как отложенные в сторону тромбоны.

Лейла посмотрела на книги, лежавшие на полке рядом с фотографией ее брата, потом закрыла накрашенные глаза и тихо сказала: «Я смотрел на него, как он умирает».

Я непонимающе глянула на нее. Она открыла глаза и, заметив растерянность на моей физиономии, улыбнулась и сказала: «Одно очко мне». Увидев, что я по-прежнему не понимаю, она закатила глаза и холодно добавила: «Сейчас он раздулся, как труп животного». Тогда до меня дошло. Это было нашей с ней игрой: одна выплевывала забытую цитату из какой-нибудь книги, которая в тот момент оказывалась в поле зрения, а другая должна была сказать ее название. Правда, мне было непонятно, почему она вдруг вспомнила этот почти забытый ритуал. Мы играли в цитаты в начале учебы, когда еще думали, что достаточно сказать что-то веское и люди подумают, что ты их понимаешь. Но мы больше не были теми нами. Факультет был вне наших жизней, для меня – как любовник, которого я четыре года переоценивала, для нее – как болезненная вакцина, о которой другие сказали, что она необходима. *«Сейчас он раздулся, как труп животного»* больше не было той же фразой, так же как и мы не были теми же соплячками. «Слова и так пусты», – сказала она мне однажды перед экзаменом по морфологии. Но в тот вечер слова ей были необходимы, хотя бы как пла-

цебо, поэтому я без лишних обсуждений подчинилась правилам игры.

«Нет, он не уменьшился, – прошептала я, – холодный и пустой, он выглядит гораздо бóльшим, чем раньше».

«Мрачный», – сказала Лейла.

«Что?»

«*Мрачный* и пустой».

«Да... Мрачный и пустой. *Путевые заметки*».

Когда я предложила удовлетворительный ответ, а она в знак одобрения кивнула, я закрыла глаза и сжала ее теплую руку в надежде спастись от коричневого плюша и его шарлатанского бежевого прошлого. Меня успокоило, что она по-прежнему была способна играть, воскрешать цитаты из каких-то книг, делая вид, что их не любит и делит их со мной, словно не игнорировала меня целых три года. Я не сердилась. Я была рада, что она по-прежнему верит в красоту, после того как стала свидетелем смерти, растянувшейся на плитках пола в ванной.

Тогда она в первый раз задала мне тот ужасный вопрос.

«Когда ты напишешь какое-нибудь стихотворение про меня?»

Я открыла глаза и ровно села на диване. Я знала ее со времени, когда у меня еще не начались менструации, тем не менее вопрос застиг меня врасплох. «Я уверена, что ты их и сейчас пишешь. После той твоей болезненной книги.

Ведь так? Признайся», – сказала она, мгновенно вогнав меня в стыд, как будто писать стихи – то же, что спрятать бутылку с ракией в бумажный пакет и переночевать в подъезде.

«Пишу», – ответила я. Было уже больше десяти. Умолкли кастрюли на кухне. Я знала, что после похорон нужно было пойти домой сразу. После того как зароешь чьего-нибудь домашнего любимца, не может произойти ничего хорошего.

«И, почему бы тебе не написать какое-нибудь стихотворение обо мне? Чего мне не хватает?»

«Я тебе кто, – спросила я ее, – ебаный Балашевич¹, что ли?»

Позже мне из-за этого было неприятно. Нужно было сказать «да, конечно», – она бы и так через несколько дней начисто забыла, что спросила меня, или посмеялась бы над своей глупой просьбой и добавила, что скорее бы умерла, чем стала разыгрывать из себя чью-то музу. Однако я не могла сдержаться. Я далека от того, чтобы считать свои стихи хорошими, но отсутствие Лейлы в той части моей жизни – точнее, ее полное игнорирование всей этой затеи, включая продвижение, рецензии и премии, – где-то внутри причиняло мне боль, как опасный осколок. Даже если бы она сегодня похоронила собственную мать, я бы не позволила ей унижать меня таким банальным способом. Уличный попрошайка мог спросить у меня то же самое, и я бы поверила в невинность

¹ Джордже Балашевич – популярный сербский поэт-песенник. *Здесь и далее – прим. ред.*

просьбы. Но не она. Жизнь для Лейлы была бешеной лисцей, которая приходит ночью красть кур. Писать о жизни для нее не значило на следующий день таращить глаза на изуродованные останки курицы, не имея возможности когда-нибудь застигнуть хищника на месте преступления. Кроме того, мне кажется, она никогда не понимала, почему кто-то в здравом разуме может сесть и писать стихи. Тем более почему я, там, где мы были, в то время, когда мы там оказались, вообще захотела чего-то такого. И сейчас, после всего этого, после многолетней политики недооценки единственного минимально успешного предприятия в моей в основном невпечатляющей жизни, она сидит на своем фальшиво-коричневом диване, со своими фальшиво-светлыми волосами и меня оскорбляет. Нет, не выйдет.

«Еб твою мать, Сара, – сказала она и встала. – Я пошутила».

Она не злилась, просто устала. Спросить Лейлу – поэзия не стоила даже ссоры. Подошла к полке, взяла фотографию своего брата и протерла стекло в рамке краем рукава.

«И он тоже не захотел нарисовать меня», – сказала она и вернула фотографию на место. Посмотрела на меня, выкашив глаза, будто что-то вспомнила.

«Я тебе никогда не рассказывала, как он прикоснулся к Дюреру?»

Я продолжала молчать на ее диване, вдруг став совершенно ничего не значащей, вроде тапки, которая полностью

утрачивает смысл, если теряет пару. Ей явно требовался не собеседник, а лишь ухо, чтобы полностью выпотрошить себя, как животное перед препарированием. Сказала «он». В первый раз после того ужасного дня на острове.

«Я этого не помню, – продолжала она, – я была слишком маленькой. Но мама рассказывала мне эту историю тысячу раз. Мы были в каком-то музее, Армину было семь или восемь лет, мне кажется. Не знаю. Короче, он приподнялся на цыпочки и прикоснулся к картине. Именно так... пальцем к картине, знаешь? И тут начался настоящий цирк: завыла сирена, сбежались зрители, старики перепугались...»

Я не знала, что сказать. Впрочем, что любой мог бы сказать в этот момент? Лисица уже убежала со двора, я не успела ее схватить. Слова вдруг показались мне лживыми, испорченными, как засохшая пудра на изборожденном морщинами лице старухи.

«Важно, что Зеко получил эпилог», – сказала она и пожала плечами, поставив печать на всей этой истории о смерти, поэзии и охраняемых картинах. Она опять стала обычной девушкой – такой, которая не станет добиваться девятки на экзамене, которой приятнее всего попить пиво и не строить из себя умную. Блондинка в пластиковых тапках, запросто способная шутить по поводу мертвого зайца, которого, я это прекрасно помню, когда-то любила больше, чем людей. Девушка, которая не знает, что Вена *раздулась, как труп животного*, и которая не рассказывает о своем брате. Чья-то

хрупкая тупая муза. Она была мне невыносима.

Я сказала, что уже поздно и мне пора домой. Наверняка и ее мать уже легла. Некоторое время она смотрела на меня. Ее взгляд блуждал по моему лицу так, словно, если она достаточно долго будет меня рассматривать, я передумаю. Останусь, буду пить ее вино, напишу ей стихотворение – нужно только немного натянуть поводок. Когда она поняла, что я действительно решила идти домой, взгляд соскользнул с моего лица, как покрывало с памятника. Она подошла к двери, широко открыла ее и сказала, мне кажется, я почти в этом уверена, хотя позже она утверждала, что все было не совсем так: «Давай, вали к ебеной матери».

Я допила вино и вышла из Лейлиной комнаты. Слишком быстро добралась до дома, поэтому пошла по улице дальше, словно не узнав собственную входную дверь. Гуляла я долго, слушала сверчков в запущенных кустах и спрашивала себя, где в ту ночь прятались кроты и правда ли то, что говорят о больших ядовитых змеях возле реки. Я гуляла, пока все церкви не прозвонили пять часов и, кажется, еще долго после этого. Гуляла до тех пор, пока двенадцать лет спустя не дошла до парка святого Стефана в Дублине, вытащила из кармана телефон и произнесла ее имя. Да, я имею в виду *твое* имя. Тогда я остановилась.]

2.

Я вошла в квартиру с пустыми руками. Нужно было купить новые занавески. И еще что-то, что я забыла. У двери меня ждали его серые тапки. У одной из них начала отрываться подошва. Тапка открывала и закрывала рот на каждом шагу, как будто собирался что-то сказать, но никак не могла вспомнить что. Это был тридцать пятый день рождения Майкла, в тот год я подарила ему эти тапки и какую-то пластинку, не могу вспомнить какую. Мы и торт купили – «Красный бархат» – и шутили, что уроним его по пути домой. Мы остановились перед аптекой, известной только тем, что больше ста лет назад один литературный герой купил в ней мыло.

«А может, нам пожениться?» – спросил меня Майкл.

«Не смей меня», – ответила я. Открыла коробку и сунула пальцы в холодное губчатое тело красного торта. Он был вкусным.

«С днем рождения», – сказала я ему. Тем дело и кончилось, идея брака была отвергнута перед той аптекой как неэффективная таблетка. Через несколько лет мама перестала спрашивать. Она приезжала к нам только один раз. Спала со мной на большой кровати, а Майкл ютился на диване. Просыпалась мама в семь утра и начинала греметь на кухне. Я знала, что она думала: что я срамлю ее перед всем бе-

лым светом. Вся Ирландия узнает, что мать не научила меня убирать в доме. Но я знала и что думал Майкл: он смотрел на огромное тело матери и спрашивал себя, передается ли это генетически. Она всегда была полной, но после папиной смерти ей удалось совершенно изменить свой вид к худшему. Я думала о ее светлых волосах, которые падали мне на лицо, когда она по вечерам меня убаюкивала. Сейчас от волос осталось всего несколько тонких прядей вдоль толстых щек, которые переходили в шею. Помню, как Майкл мне сказал: «У твоей мамы такие красивые глаза». Только это и осталось, что он смог похвалить. А я его за это возненавидела. Мне хотелось обнять и защитить свою большую мать от его взгляда.

Когда она отбыла домой, мне полегчало. Я купила ей огромную кружку с изображением клевера, хотя мать никогда не пила пиво, и пепельницу с ирландским флагом, хотя она никогда не была курильщицей. Она села в самолет и вернулась в Боснию. Через некоторое время она перестала мне звонить. Мы с Майклом вернулись в свою нормальность. Он – писать коды, я – переводить. Больше никто не вспоминал ни брак, ни мою мать.

Наш первый секс продолжался около пяти минут. Майкл был пьян, я устала, а его пес скулил в коридоре. На улице горланили разнузданные дублинцы. Майкл заснул в тот же момент, как стянул презерватив. Я пошла в ванную. Я впер-

вые была в его квартире. Позже она станет нашей квартирой, то есть и моей, хотя, в сущности, она никогда не была ни тем, ни другим, а принадлежала коренастой ирландке лет шестидесяти с небольшим, которая с Майклом флиртовала, а меня игнорировала. Но в ту ночь после пяти минут секса это была только его квартира. Мне неизвестны ее углы, я ударяюсь большим пальцем ноги. В ванной я открыла зеркальный шкафчик и нашла столько анальгетиков, что хватило бы усыпить лошадь. Майкловы мигрени. С ними я познакомлюсь позже. Врач велит ему меньше смотреть в компьютер. Мы разразимся хохотом. Но в тот вечер это была просто гора незнакомых таблеток в ванной какого-то типа, с которым я познакомилась прошлой ночью. Я переспала с наркоманом, подумала я. В этом я ему признаюсь примерно после четвертой или пятой встречи. Ему это покажется самым смешным на свете.

Сколько я просидела в той ванной? К одной из плиток была прилеплена силиконовая уточка. В сливном отверстии полно рыжих волос. Мне было больно между ног. Я взяла у него две таблетки и воспользовалась его полотенцем. Думала, ночь будет лучше, все к тому шло. Тип умен. Начитан. Остроумен. Слегка чокнутый. Любит Коэна. А потом все было готово за пять минут, после чего умный тип заснул. Я сидела в чужой ванной, не зная, что однажды она станет моей, и думала обо всех дублинцах, с которыми я спала с тех пор, как сюда переселилась. В моей голове промелькнули все

их презервативы. Небольшой бассейн зря растраченных ирландских генов. Как я с ними покончила? Так же, как с этим, подумала я. Выйду из ванной и вызову такси. Номер телефона я ему не давала, не станет мне надоедать.

На стиральной машине – его грязные вещи. Я вытащила из кучи футболку с Дартом Вейдером и приложила к себе. Она была огромной и воняла гашишем. Вернула ее в грудку и вышла из ванной, полная решимости одеться и вызвать такси. Нашла только джинсы и один носок. Его пес внимательно наблюдал за мной, похоже, я была не первая, кто тыкался по углам квартиры в поисках выхода. Я искала рубашку в гостиной, где тогда был другой стол, не тот, что мы спустя несколько лет будем собирать вместе. В тот момент я просто хочу найти свою рубашку, убраться оттуда и сделать вид, что ничего не случилось. Он храпит в другой комнате, до него и не дойдет, что я ушла. А второй носок может оставить себе как сувенир.

Рубашку я нашла рядом с телевизором и натянула на себя через голову, соображая, какое такси вызвать, злая, что снова отдам деньги за чужие колеса. А потом посмотрела вверх, на книжные полки на стене, и замерла. Среди компьютерных справочников виднелась черная книжечка. Ее корешок был украшен серебряными буквами. Я прочитала: «Остров сокровищ – Р.Л. Стивенсон». Я стояла и смотрела, как буквы переливаются под уличным светом, проникавшим в гостиную с балкона. Я провела пальцами по буквам,

те были слегка выпуклыми, как затянувшаяся рана. У меня больше ничего не болело – анальгетик быстро сделал свое дело. Пес лизал мою босую ногу. Я смотрела на книгу и думала о Джиме Хокинсе, которому сказали, что он должен описать все как было и ни в коем случае ничего не упустить. Через некоторое время я сняла с себя всю одежду и вернулась в кровать к Майклу. Сколько лет прошло с тех пор? От нашего первого секса до звонка Лейлы? Люди умирали каждый день. Сколько их перестало существовать с дня, когда мы похоронили Зайца? За время, пока мы с ней не слышали друг друга, прекратились многие жизни. Где была она, пока я знакомилась с Майклом, спала с Майклом, ела торты с Майклом, ссорилась с Майклом? Почему не позвонила мне в тот день, или тогда, перед аптекой, или на следующий, или в любой другой день, кроме этого? Почему не позвонила мне до того, как я увидела ту книгу на полке у Майкла? Как будто она наперед знала все о моей жизни, обо всем, что со мной произойдет, раньше, чем я сама.

В моих ушах по-прежнему стоял ее хриплый голос. Она была старше, грубее, но по-прежнему с тем же завораживающим низким голосом. Я глубоко вздохнула и осторожно открыла дверь, как бы отчасти надеясь, что застану Майкла за каким-нибудь непростительным занятием. Тогда было бы легче.

Я не разулась. Он сидел в гостиной и писал коды, которые я никогда не понимала. Я стояла в дверях у него за спиной

и смотрела на аккуратные фразы, белые на черном мониторе, сотканные из цифр, букв и знаков, следующие одна за другой. Майкл всегда говорил, что весь мир закодирован. Что я не осознаю, что за моим софтом для перевода, за моими любимыми журналами, моими плейлистами с музыкой того времени, когда его работы еще не существовало, скрывается целый недоступный мне язык. Я стояла, смотрела на это множество символов и спрашивала себя, кого он однажды этим осчастливит. Поможет ли кому-то, сам того не подозревая, окончить докторантуру, или убить какое-нибудь чудовище в видеоигре, или, кто знает, написать с помощью нового софта предсмертную записку. Этот сгорбившийся человек в слишком широком джемпере с узором из ромбиков – чей он бог?

Моя рука по-прежнему оставалась в кармане пальто, я сжимала телефон, из которого полчаса назад просочилось: «Армин в Вене». Мне казалось, что я не смогу собрать вещи и уехать в аэропорт, если мои пальцы выпустят телефон. Вместе с ним выпадут и Лейла, и Армин, и Вена. А что будет со сгорбившимся богом в джемпере с ромбиками? Ничего страшного: Загреб, Мостар, Вена. Пара недель, ну месяц, если решу остаться подольше. Телефон в моей стиснутой ладони становился все теплее. Босния, Лейла. Это не двухнедельный отдых, после которого вернешься домой и ляжешь в кровать с Майклом. Это все равно что заново сесть на героин. Я уже была запятнана родным языком.

Я подошла к нему со спины и сняла с головы наушники. Он перепугался. Положила ладони ему на плечи. Я одновременно чувствовала и обычность этого хорошо известного движения и то, что сейчас оно другое.

«Это всего лишь я», – сказала я.

«Нашла занавески?» – спросил он, продолжая смотреть в монитор. «Нет», – ответила я. Я чувствовала, как в мою утробу падают тяжелые английские слова, кирпич за кирпичом.

«Завтра я схожу..., – сказал он, – если ты еще один день сможешь вытерпеть вид нашего голозадого соседа».

Я села на диван возле письменного стола и обвела взглядом нашу гостиную. И увидела ее как в первый раз – ведь я смотрела глазами Лейлы. Ее звонок сделал из моей жизни музей. Я смотрела на стену над компьютером Майкла, на полку с фигурками «Лего», мелкими кактусами и книгами о языках программирования. С другой стороны – вторая стена, заполненная моими словарями и энциклопедиями, с черно-белой фотографией седого возмущенного Сэлинджера, стиснувшего кулак, чтобы разбить хамский объектив. Между нашими непереводаемыми мирами стоит круглый обеденный стол, который мы как-то вечером вдвоем собирали, преппираясь из-за инструкции. Рядом с большим телевизором – фотография его пса. Диабет. Нам пришлось его усыпить. Майкл держал большую черную лапу Ньютона, я держала руку Майкла, а пес погружался в сон. Майкл плакал, вытирал

нос о свое плечо, он не хотел выпустить нас – Ньютона и меня, лапу и руку. А рядом, между телевизором и письменным столом – проклятое деревце авокадо, упрямое растение, выжившее вопреки всем прогнозам, маленькое, недоразвитое, без единого плода в перспективе, но тем не менее из сезона в сезон живое. Тощее несчастное дерево. Я его просто так однажды посадила, совершенно неправильно. Майкл потом увидел на «Ютубе», что косточку нужно было проколоть зубочистками и оставить в стакане с водой. А я ее извлекла из плода, очистила от кожуры и засунула глубоко в землю, как волшебную фасолину. Мне это показалось похожим на похороны – влажная крупная косточка, глубоко в горшке. Но вскоре стало ясно, что могила на самом деле оказалась хитроумной колыбелью. Майкл ее поливал, поворачивал к солнцу, счищал с листьев паразитов. Зомби-авокадо. Я сидела на диване и смотрела на него, будто вижу в первый раз. Если бы Лейла увидела мое дерево авокадо, она бы расхохоталась своим подлым смехом и напомнила мне, что я из тех, к кому растения приходят не жить, а умирать.

Я ее хорошо видела там, на паркете Майкла, она бросала снисходительный взгляд на мой дублинский этап. Она бы даже ничего не сказала, просто взглядом сбросила с меня Европу, как дорогую шубу с жалкой выскочки, и без тени стыда предъявила бы всем мои балканские шрамы.

Когда Майкл оторвался от клавиатуры, он обернулся и посмотрел на окно за моей спиной. Двумя неделями раньше

в доме напротив нашего поселился нудист. Из нашей гостиной нам была видна его столовая. Это был человек среднего возраста, совершенно обыкновенный, с красными в белый горошек кастрюлями и черной сумкой на стуле. Один из тех, кто, оставшись без шевелюры, пытается подчеркнуть собственное достоинство слишком большой бородой. На стене у него висел календарь за девяносто какой-то год. Ел он раз в день, прямо из кастрюли. Слушал Шостаковича. Майкл нервничал как из-за музыки, так и из-за впечатляющего мужского достоинства соседа, которое приветствовало его каждое утро.

«Он дома?» – спросила я.

«Нет. Слава богу».

Он продолжал смотреть в окно. В бороде застряли крошки от чипсов. Если бы это был какой-то другой Майкл, тот, который существовал до Лейлиного звонка, Майкл, который плачет, когда чужой человек убивает его собаку, Майкл, который руками ест торт «Красный бархат», Майкл, который требует у меня большой шуруп для ножки обеденного стола... возможно, я и стряхнула бы с его бороды крошки. Так естественно, что он бы этого и не заметил. Но так это не имело смысла. Дотронуться до статуи в музее. Поэтому я просто сидела на диване, на нашем диване, который вдруг стал его диваном, а потом, очень скоро – просто каким-то диваном, и смотрела на этого большого рыжеволосого бога и на пятно от кофе на его джинсах. Сумеет ли он найти средство

от вьевшихся пятен? Его ступни, вообще-то огромные, по сравнению с полом исцарапанного паркета вокруг них показались мне крохотными. Кто купит ему новые тапки? Он сам об этом никогда не подумает. Будет ходить босым, всегда, по плохому паркету. Я смотрела на его ступни как на детей, которых бросаю.

«Я должна ехать домой», – сказала я в конце концов. Ноте. Мы жили вместе уже шесть лет, не следовало так говорить. *Note* была наша квартира, наши книги, наша кровать с анатомическими подушками, наш испорченный душ, уточка на плитке в ванной, царапины на паркете. И даже голый мужчина в нашем окне. *Note* – это не Босния. Босния – это нечто другое. Ржавый якорь в зассанном море. До сих пор нужно делать прививку от столбняка, хотя прошло столько лет.

«Зачем тебе ехать домой?» *Note*.

У меня были готовы ответы. Я представила ему абсолютно убедительный рассказ о *великолепной возможности* повидаться с матерью, привести в порядок кое-какие документы, забрать оставшиеся пластинки, рассказ о школьной подруге и ее брате, который, похоже, в Вене, рассказ о Вене, великолепной, безукоризненной, тем более что там в это время будет конференция о дискурсе и власти, на которую я иначе бы не смогла попасть, рассказ о дешевых авиабилетах и о том, как мне всегда хотелось увидеть Мостар, какой это от-

личный тайминг, рассказ обо всем и ни о чем. Мне показалось на мгновение, что он поймет, в чем дело, увидит дыры в моем неуклюжем коде, что он мне скажет, что об этом не может быть и речи. Я как будто надеялась, что так и случится. Я бы позвонила Лейле и объяснила, что у меня просто нет возможности приехать, Майкл прав. Когда я приходила с работы пораньше, я осторожно открывала дверь, осознавая возможность, что Майкл может быть на нашем диване с какой-то другой женщиной. Может быть, даже не с женщиной, думала я, тихо защелкивая замок, может, просто смотрит какой-то порнофильм сомнительного качества, где крупная дама облегчается на связанного мужчину, что-нибудь такое – и я его за этим застукаю. Всегда есть такая возможность – что ему все же удастся меня оскорбить или обидеть, но я буду права, и это меня утешит. Но оказалось, что я год за годом захожу в квартиру и застаю его набивающим коды на грязной клавиатуре, полной крошек от печенья. Возможности исчезают. А теперь? Он что-то скажет. Он смотрит в окно, туда, где живет голый мужчина. Морщится. Это мгновение я буду помнить долго, подумала я. А потом в какой-то день забуду. То мгновение, когда по-прежнему существовала возможность, пусть даже минимальная, что Майкл мне что-то запретит. Однако он лишь кивнул, по-прежнему уставившись в окно, и сказал: «Конечно, делай все, что тебе нужно».

Не нужна мне Лейла, это я ей нужна. Всегда так было. Я хотела это ему сказать. И про Армана. И про тех со-

бак. Вместо этого я сказала: «Тебе нужны новые тапки». Он улыбнулся, ответил: «Сначала занавеска» и вернулся к программированию. Авокадо продолжало расти, тихо и неподвижно. Его упорная жизнь меня позорила.

[Тебе семнадцать лет. Мне на год больше. Поем *Guadeamus igitur*. Ты поешь *humus* там, где надо *sumus*. Я щиплю тебя. «Сперва идет *sumus*», – шепчу тебе. А ты вопишь во всю глотку, гордясь своим фантастическим отсутствием слуха, хотя училка музыки велела тебе только открывать рот. Наш классный руководитель произносит ту же речь, что и в прошлом году, и в позапрошлом. С момента, как был объявлен мир, он, похоже, нашел новое призвание – недооцененный академик, который, если бы история его не обманула, мог достичь бог знает каких высот и получить бог знает какие награды. Однако так ему не остается ничего другого, как скромно – подобно каждому настоящему гению – поучать нас, потерянное поколение молодежи.

«Вы, – говорит он своим трепещущим голосом с нереализованным потенциалом, – поколение, перед которым простирается бескрайний простор возможностей». *Асфальта*, поправила бы его какая-нибудь более старшая ты. Но что мы могли тогда знать? Ты в бандане, повязанной на лоб, в слишком широкой джинсовой куртке, с щеками, блестящими от крема, который получила бесплатно как приложение к зимнему изданию журнала Teen. Я – в одном из моих поношен-

ных платьев-рубашек, в кроссовках на платформе и с жемчужинами в ушах. Мы не знали, что поем. Наши голоса прокрались из легких, как невинные летучие мыши. «Смерть придет быстро и жестоко схватит нас», – пели из нас какие-то мертвые римляне. Мы будем глубоко под землей, сказали они, и никто нас не спасет. Кто-то был обязан перевести нам эту тьму дешевых эстрадных клише. А может, так оно и должно быть: сперва петь о смерти на языке, которого не понимаешь. Позже, когда ты узнаешь истинную природу стихов, которые продекламировал перед гордящимися тобой родителями, передумывать слишком поздно. Да кроме того, твои родители и не понимают латынь. Сейчас тебе хочется жить, жить и радоваться, несмотря на смерть. И мы обе точно так же стоим и поем о смерти, о радости, смотрим в какое-то неопределенное пространство за спинами наших родителей и преподавателей, во что-то далекое и необратимое, как латынь, затерявшееся в облупившейся краске на стене за публикой, смотрим на море возможностей. А они смотрят на нас – неожиданно гордые и существующие, – словно наш ор вырвал их из глубокого сна, из какой-то темноты, которую они сами и соткали всего лишь несколько лет назад. Поем морю, которое у нас украли, стакан за стаканом, пока мы были заняты собиранием салфеток, стеклянных шариков и плакатов *Моей так называемой жизни*. Моя мать, тихая и широкая, как озеро, в светло-голубом выходном платье, рядом с отцом. Он забыл снять свою потрепанную кепку пе-

ред всем моим классом. И его палка, дубовая, на моем выпускном она как младший брат, которого я не хотела, прислоненная к стулу между моими родителями. Папа то и дело слегка кивает, оглядывается и что-то шепчет маме. Отсюда, со сцены, я его не слышу, но могу угадать каждое слово. *Вон там Костич, парень у него такой толстый, чудо, что школу окончил. А вот и Лалич, и его жена. Дочка ихняя в одном классе с Сарой.* Мама все время моргает. Она в корсете, это видно по ее щекам. Если весь этот цирк затянется, она в нем сварится.

Недалеко от них сидит твоя мать, одна, в черном, как знак препинания среди пестрых блузок. Воротник с одной стороны загнулся, она забыла его расправить. Позже, перед фотографом, ты без слов исправишь эту тихую оплошность. Подойдешь к ней, обнимешь за талию, прислонишься головой к ее неподвижному плечу, как будто фотографируешься с деревом. Весна близится к концу, как все-таки грустно среди всех этих увядающих ландышей и цветов лип. Сладковатый запах просачивается сквозь дым сигарет и духи гордых матерей. Я стою, прислонившись к столбу, и смотрю на твою маму, как она протягивает тебе деньги и произносит какие-то не доносящиеся для меня фразы. Словно покупает картошку. Ты терпеть не можешь ее траур, но это выпускной вечер, она дает тебе деньги, за вами поблескивает церковь, похожая на свежеотполированную кофемолку – нет смысла ее критиковать.

Когда она уже отошла достаточно далеко, вниз, по аллее, подхожу к тебе и показываю купюры в своей сумке.

«Пятьдесят», – говоришь ты.

«Отлично... Я двадцать»

«Как раз хватит. А ты взяла...»

«Взяла. Пахнут клубникой»

«Неужели ты нюхала?»

«Ты что, дурочка? На упаковке написано».

Наш отказ одеться торжественно был таким же продуманным, как и шуршащие слои тюля на наших одноклассницах. Мама старалась на меня не смотреть: она надела свое самое красивое платье, то, в которое она еще смогла поместиться. Мои тощие ноги ее нервировали. Дочь начальника полиции на выпускном в кроссовках и лосинах.

За день до выпускного она потащила меня покупать лифчик. Мне это было не нужно, но для нее, как было видно, что-то значило, поэтому я согласилась. Должно быть, это был способ сблизиться со мной где-нибудь, где нет папы, который всегда вставал на мою сторону. Она была готова исполнить святое дело – научить меня примерять бюстгальтер, *как бог и заповедует матерям*. В кабинке для примерки она потрясенно смотрела на мои ребра, мою неразвитую грудь, впалый живот. Потом с гордостью ухватила за свои тяжелые груди и сказала: «Они у меня такие еще с восьмого класса. Ты, похоже, и в этом вся в отца». Моя мама как обиженный

подросток, которому так необходима эта победа, стоит перед моим полуголым телом и держится за груди.

Утром в день выпускного папа подарил мне золотую цепочку с кулоном размером в спичечный коробок, на котором кто-то курсивом выгравировал мое имя, фамилию и дату. Папа смотрел в пол, как делал всегда, когда боялся заплакать. Он сказал: «Браво, дочка». Лет через пять-шесть я положу эту цепочку на потную ладонь одного дублинского владельца ломбарда. Деньги помогут мне продержаться всего месяц. Матери я позвоню из интернет-кафе. Она будет разоряться, считая, что чем громче говоришь, тем лучше связь, а папа будет молчать, вместо его голоса мне будет слышен только взволнованный голос футбольного комментатора. Потом я заложу жемчужные серьги, бабушкино кольцо и две кожаные сумки. Променяю Боснию на деньги, только бы не пришлось туда возвращаться. Но тогда, в тот день, в кроссовках на платформе и косой до попы, я этого не знаю. Мы окончили школу. Стою рядом с тобой и пою, с цепочкой под рубашкой, чтобы знакомые не увидели. Не знаю я и того, что однажды утром, после первой же зарплаты, я вернусь в ломбард и увижу, что уже поздно. Не знаю, что мне будет очень жаль, хотя цепочка была отвратной, да и с кулоном отец перебрал во всех отношениях.

А те два парня, которых мы отобрали, чтобы они сделали свое дело? Должно быть, это была твоя идея. Мне после

Александра было безразлично. Я хотела, чтобы все произошло как можно скорее. Доверила тебе разработку всей операции, как будто моя невинность была счетом в банке, а ты – ловким бухгалтером. Тебе никогда не было трудно привлечь внимание любого мужчины. Они видели в тебе то же, что и я: обещание тихой дикости, которая поджидает за влажным пнем в глубине леса. Твои глаза были еще чернее, чем всегда, обведенные толстым слоем туши, которую ты забыла снять перед сном. Ты являлась на занятия нечесаной, в измятых и слишком больших для тебя рубахах. До того, как первый преподаватель войдет в класс, я успевала лизнуть указательный палец и стереть черные пятна у тебя под глазами. А ты смотрела на меня так, будто тебе безразлично с пятнами ты или без. Я вытаскивала из сумки тональный крем и быстро мазала твой красный нос. Могла нарисовать тебе лицо какой-нибудь гейши, и ты бы не отреагировала.

Они это чувствовали, нетерпеливые мальчики, переполненные феромонами, как тяжелый улей медом, переживающие мучительные метаморфозы, которые непонятны и им самим. Они чувствовали твою неукротимую небрежность, которая оскорбляла их влажные неосуществленные мечты. Помню тот день, когда мы писали контрольную по математике, ты закончила одной из первых – хотя должна была сделать и свой, и мой вариант – и смотрела в окно, туда, где ворота школы выходят на дорогу. Я помню этот момент, потому что заметила, как преподаватель смотрит на твое ли-

цо, пока остальные ученики борются с трудной арифметикой. Он смотрел на тебя спокойным, уверенным взглядом, как будто понимает что-то, что останется для нас, подростков, недоступным еще по крайней мере несколько лет. Своими глазами он превратил тебя в сложное мифологическое существо, прочесть которое может только взрослый. За это я его ненавидела. Но твои глаза отдыхали на воротах, там, где, если долго смотреть, могла появиться темноволосая фигура в длинном пальто.

Помнишь наших тощих поклонников? После того как все выпускные ритуалы завершились, мы отвели их к реке, туда, под большую иву. Их душили пестрые отцовские галстуки. Тот, твой (или тот был мой?), принес с собой солидную баклагу со сливовицей, на которой было вырезано раздраженное лицо святого Василия Острожского. Мы купили четыре пирожка с творогом и литр фанты, чтобы было легче проглотить ракию. От поверхности реки тянуло металлическим запахом застоявшейся весны.

«Ты куда поступать будешь?» – спросил меня тот мой, пока я лежала на траве и смотрела в мутное небо, обеспокоенная тем, что дождь может разрушить наши планы.

«На литературу», – сказала я и взяла баклагу.

«Сербскую?»

«А какую же еще?» – спрашивает тот твой.

Потом он поворачивается к тебе – ты лежишь, раскинув

руки и ноги, будто тебя кто-то распял на влажной земле, и пытаешься свистеть. «А ты куда собираешься?»

«Никуда», – отвечаешь ты ему и продолжаешь бесплодные попытки высвистеть больше двух тонов.

«Ты же не умеешь свистеть», – громко сказала я, чтобы сменить тему. Весь последний год гимназии я провела, уговаривая тебя поступить в университет, на что ты немедленно отвечала одной-единственной фразой: «Мне нужны деньги», – никогда не объясняя, на что тебе нужны деньги конкретно, а потом перестала говорить это и просто меняла тему или же полностью меня игнорировала.

«Но ты ведь все-таки куда-то поступишь?» – спросил тот твой.

«На кой?»

«А что же ты будешь делать, убираться у кого-нибудь в доме?» Он спросил это с отвращением, будто мыть и убирать было так же отвратительно, как и гадить. Она приподнялась, опираясь на локти, и посмотрела на него как на самое глупое существо в мире.

«А куда поступит Сара?» – спросила ты у него, хотя прекрасно знала мой выбор. Я молчала, встревоженная тем, что твое высокомерное поведение отвратит их от первоначальной цели. Мы пришли на реку не для того, чтобы обсуждать твое пропащее будущее. Для такого не идут на реку. Было бы непорядочно, если бы ты уничтожила это лишь для того, чтобы показать каким-то мужчинам, какая ты необычная,

гораздо более необычная, чем глупая я, которая хочет учиться в университете.

«Ну, Сара – на литературу», – в один голос ответили оба.

«О'кей, – сказала ты. – Тогда и я на литературу. Теперь все о'кей?» Она снова опустила растрепанную голову на мокрую землю, закрыла глаза и продолжила свистеть. Твой ухажер положил ладонь тебе на колено, это не нарушило мелодию. Тот мой тут же делал все вслед за ним, так как, было очевидно, не знал, что надо делать. Ладонь на твоей шее – ладонь на моей шее. Пальцы в твоих волосах – пальцы в моих волосах. Так я смогла почувствовать все то же, что и ты. Моя *особая ночь* была лишь копией твоей.

Вскоре мы разделились, каждая пара – со своей стороны толстого дерева. Тот мой остался теперь без образца для подражания и почти не знал, как быть. Я помогла ему с презервативом. Когда я первый раз почувствовала его в своей руке, мне показалось, что я схватила за шею маленькую испуганную птицу. Я расставила ноги и посмотрела на большую Луну. Она висела на мертвых небесах как не заслуженная никем медаль, старая и исцарапанная. Ее потрескавшиеся губы что-то мне говорили, что-то важное. А потом неожиданно, без всякого предупреждения, она сорвалась с черного неба и с силой плюхнулась в черную реку. Капли воды брызнули на мои голые ступни. Воцарилось совершеннейшее молчание, темнота была полной. Боль пронзила меня резко и без предупреждения, словно в отместку, потому что я когда-то

давно, где-то глубоко в своем теле захватила ее престол.

Предыдущей ночью мы сварили густую смесь из лимонада с сахаром и намазали себе между ног. Ты вырвала волосы у меня, я у тебя. Я знала, что будет жечь, но не противилась. Я верила тебе. Потом я тебя слышала по другую стороны отивы. Тебе было больно, и я пыталась собственным криком победить твою боль.

Позже мы остались лежать, каждая возле своего мужчины в галстуке, на траве, от которой пахло клубникой и фантой. Один сказал, что уже поздно и, если мы все еще хотим попасть на празднование в отель, пора возвращаться. Но ты просто запела *Guadeamus igitur* со своей стороны дерева, а я засмеялась и крикнула: «*Ne humus, a sumus!*!»

Проснулись мы в одиночестве, на рассвете, прижавшись друг к другу, словно нас питала одна невидимая пуповина, тянущаяся от реки. Сперва я не понимала, где нахожусь, я слышала воду, как она плещется о камни на берегу, и подумала, что она меня проглотит и унесет далеко-далеко. Потом увидела твои черные волосы на своей ладони и вспомнила, что несколько часов назад мы потеряли невинность. Я сбросила с твоего плеча маленького красного муравья. У меня по-прежнему болело между ногами, но я не хотела тебе в этом признаться. Умолчала я и о том, что хотела проснуться рядом с ним, а не рядом с тобой. Ты была беспощадно не изменившейся, будто во всем этом не было никакой причины для грусти. Все прошло по плану. Мы достали

из моей сумки чистые трусы, аспирин и оставшиеся деньги.

«Хочешь сразу домой?» – спросила ты меня, пересчитывая бумажки и мелочь.

«Не знаю... А сколько вообще времени?»

Она посмотрела на свои желтые резиновые часы и сказала: «Шесть и... сколько-то. Какая разница, выпускной, сердиться никто не станет».

«А куда нам деваться в такое время?» – спросила я, натягивая через голову измятую рубаху, всю в траве, земле и крови.

«Пойдем на рынок», – ответила ты так, словно это самая нормальная вещь на свете.

«На рынок? Сейчас?»

«Да, он открывается через полчаса».

Ты была готова меньше чем за минуту: черный «хвост» почти на самой макушке и шнурки, завязанные надежным двойным бантиком. Я продолжала попытки обнаружить в кустах свои лосины. Осторожно спустилась к реке, где у подножья плакучей ивы лежала моя кроссовка. Пока я обувалась, увидела среди листьев что-то белое. Это была детская перчатка с грязными и порванными пальцами. Видно, у кого-то упала с моста, еще зимой.

«Смотри», – сказала я и показала ее тебе.

«Зачем она тебе? Лето же», – сказала ты равнодушно, нанося новый слой блеска на губы и щеки. Ты одним махом сделала из меня малышку, кого-то мелкого и незначитель-

ного, персону, на чьи крошечные пальчики можно натянуть маленькую перчатку.

«Еще не лето, умница!» – крикнула я тебе, а ты только пожала плечами, будто времена года – это дело личного выбора, а не научной договоренности. Не было еще и семи утра, а ты уже действовала мне на нервы. Моя находка не значила для тебя ничего, как и гимен, который ты уничтожила этой ночью, – и то, и другое ты отбросила как нечто скучное и непрактичное. Зачем она тебе, лето же? Я хотела показать, что и для меня эта дурацкая перчатка ничего не значит, и со всей силы бросила ее в реку. Я думала, что вода намочит нити и утопит ее, но она была для этого слишком мала. Просто упала, как лист на поверхность реки, и отдалась течению.

«Что ты будешь делать на рынке в такое время?» – спросила я, пытаюсь подняться наверх, к тебе.

«Я иду, – сказала ты, – купить белого зайца».

Ты стояла надо мной, крепкая и надежная, как крест, окруженная утоптанной землей и использованными презервативами, которые уже давно утратили запах клубники, а на твоём лице было что-то чужое, что-то, что не было мне известно до сих пор, и помню, что подумала в тот момент – я, растерянная и маленькая, в одной кроссовке. Я подумала, что этой ночью ты, под тем болваном, открыла для себя нечто, что я пропустила. Я подумала в страхе, что буду вечно гнаться за тобой, чтобы постигнуть то, какое-то взрослое, неосязаемое знание, пока ты исчезаешь вдали. Я подумала,

что тебя больше нет, что тебя кто-то наполнил гелием, когда я не видела, и ты, как воздушный шарик, выскользнула из моей руки в открытое небо.]

3.

Небо над Загребом ясное. Нам остается еще несколько минут пробыть в воздухе. Из окна самолета вижу какую-то воду, имени ее не знаю. Вижу и безымянные улицы, и маленькие дома, разбросанные вокруг, как забытые игрушки. Машины медленные, далеко под нами, продвигаются по улицам, как зловещие тромбы через старые вены.

Я узнала бы Балканы через это овальное окошко среди всех других панорам. Я не очень хорошо разбираюсь в географии, не знаю названий рек и гор. Возможно, это стыдно. Балканы для меня цвет, а не топоним. Имена – это забывается легче, нужно только заполнить себя чужими словами, чужими картами, и буквы исчезают, как сахар на языке. Но цвета остаются, как пятна под веками, хотя я уже давно оставила сентиментальность у себя за спиной, в доме матери. Цвета не стираются пройденными километрами. Тяжелый оттенок зеленого как забытые перцы, высохшие и сморщившиеся, они не могут больше никого накормить. Неприятный коричневый, который продолжает извиваться наподобие мертвой реки после апокалипсиса. Цвет мумии, которую изнутри съели черви. Видны отпечатки сапог, хотя их невозможно увидеть с такой высоты, это лишь иллюзия. Сотни сапог, топтавших землю. И кусты, бледно-зеленые опухоли возле рек, усталые кусты, но по-прежнему дикие, каждый с вопро-

сительным знаком сверху. Здесь кто-то умер? Здесь кого-то убили?

Рядом со мной сидит рыжий мальчик, читает какой-то комикс на немецком. На полстраницы нарисована испуганная женщина в облегающем платье, веки закрыты движением карандаша. Под ними ничего нет. Художнику не нужно рисовать глаза, чтобы их закрыть. Мать мальчика наклоняется в мою сторону и вытаскивает из щели между двумя креслами ремень, чтобы пристегнуть сына. Самолет начинает трясти, и мальчик хватается за руки матери, словно они сильнее турбулентности, даже сильнее гравитации, если мы валимся головой вниз в смерть.

«Приматы не летают», – говорила мне на первом курсе какая-то давняя Лейла, слишком гордая, чтобы признать свой страх полета. Она никогда не летала на самолете. Однажды я ее спросила, как она увидит Америку или Австралию.

«Австралию? – повторила она изумленно. – Там, где вот такие пауки? Которые прыгают. Прыгают, Сара. Пауки. Тарантулы»

«А Америка?»

«Какая тебе Америка... Они там еще хуже сумасшедшие, чем мы здесь».

Но это все были глупости, чтобы скрыть страх перед самолетами. Не из-за смерти. Лейлу никогда не пугала идея умирания. Ее гораздо сильнее пугала нехватка земли под ногами.

В загребском аэропорту написано: «Добро пожаловать в Европу» на случай, если кто-то об этом забыл, включая нас, только что прилетевших из Германии. И пока мы ждем появления наших чемоданов на движущейся ленте, вокруг снуют работники аэропорта Плесо, выполняющие свои двухминутные задачи, все очень важные, подтянутые и крепкие, в отглаженной форме, напоминающей простодушной деревенщине, что *это* не Балканы. Вскоре я обнаруживаю свой чемодан и сажусь в такси.

«Где ваш отель?» – спрашивает меня водитель.

«Не в отель, – говорю с улыбкой. – На автовокзал». Он пожимает плечами и нажимает кнопку на счетчике, под бледной Богородицею. Нужно было сказать не «автовокзал», а похорватски «колодвор», корю я себя, пристегивая ремень.

«Сзади можно не пристегиваться», – говорит он добродушно. Он прав. Это не Дублин.

«Привычка», – говорю я.

Из зеркала заднего вида на меня смотрят два крохотных голубых глаза и улыбающийся рот. И пока мы продолжаем разговор – откуда я, чем занимаюсь, знаю ли, что на автомагистрали к Градишке произошла авария, перевернулся грузовик с рыбой, – я понимаю, где я и где меня нет. Дублин, Майкл, авокадо, наш голый сосед – отсюда все это кажется мне спектаклем, который я смотрела давно-давно. Я сижу в такси в Загребе, какой-то человек, который верит в непо-

рочное зачатие, везет меня к «колодвору», там я отыщу автобус на Мостар и – и все дела. Возможно, что-то случится: возможно, мне скажут, что все билеты проданы, возможно, автобус перевернется, как тот грузовик с рыбой, возможно, я заблужусь в Мостаре, несмотря на ее инструкции и все навигационные приложения в моем телефоне, вместе взятые. Возможно, я ее найду и пойму, что на самом деле это была вовсе не она – пять дней назад мне позвонила какая-то другая Лейла, и тот голос был чужим, неузнаваемым, произошла ошибка. Как же удивится незнакомая женщина, когда я войду в ресторан и я буду кем-то другим, кем-то, кого она не ждет. Мы посмеемся над случайностями жизни и потом снова отправимся каждая своим путем. Кто знает, может, мы станем подругами, я и та ошибочная Лейла. Может быть, по-прежнему существует возможность, что все это лишь ошибка. Ошибочный номер в коде на каком-то мониторе. И я вернусь домой еще до того, как умрет мое дерево авокадо.

«Вот и автовокзал», – говорит мне водитель, выключая счетчик. Я подумала обо всех таксистах, которые в меньшей или большей степени изменили мою жизнь, не зная о своей колоссальной роли. Все эти безымянные участники эпизодов, которые толкают нашу историю вперед двумя ловкими руками, подобными стрелкам часов, которые никогда не останавливаются. Я прочитала его имя на водительской карточке, хотела запомнить, хотя знала, что забуду его уже в сле-

дующую секунду. Хотела придать человеку, который довез меня до автовокзала, особое значение. Приблизил ко мне Лейлу, благополучно не подозревая об этом. А я ему за это заплатила.

После четырех часов, проведенных на автовокзале за литром кофе, тремя круассанами и хорватским журналом, сажусь в автобус. Спрашиваю водителя, когда будем в Мостаре. В пять утра. Она тогда будет спать. Официантка она или нет, я не знаю, но сомневаюсь, что теперь она стала просыпаться раньше десяти. Что мне делать в Мостаре в пять утра? Разбудить ее? Не знаю, где живет. Она дала мне адрес ресторана. У меня есть семь с половиной часов, чтобы придумать, что я ей скажу. Если только что-то не случится с колесами или тормозами. Тогда я стану свободна. Автобус полупустой, пассажиры разбросаны по засиженным креслам. Некоторые уже погрузились в сон, зарывшись в куртки, слишком толстые для начала мая. Я видела на их лицах километры, преодоленные в этом же автобусе, некоторые их семьи – сыновей, дочерей, внуков, в – разбросанные между двумя странами, и то, как они ловко усаживаются и устраиваются на своих местах, словно у себя в гостиной. Некоторые держали на соседнем сиденье широкие полотняные сумки, просунув руку под ручки. Один пожилой мужчина разулся и, прежде чем поставить туфли под сиденье, краем глаза глянул на присутствующих. Может быть, чтобы убедиться, что никто не заметил, а может, чтобы оценить, кто из нас потенциальный вор.

В их лицах, в их распухших красных суставах и потных лбах с навсегда застывшей морщиной озабоченности было что-то узнаваемое. Над потертыми подголовниками виднелись коротко стриженные женские головы, свежеекрашенные перед поездкой в Хорватию, скорее всего на Пасху, а сейчас уже с повисшими жирными прядями, готовыми снова быть забытыми в Боснии. Одна полная женщина потянулась через соседнее с ней сиденье и резко похлопала по плечу другую, которая, казалось, уже успела по дороге заснуть.

«Эй... Ты помнишь, что выходим на паспортном контроле? Не засни», – сказала первая.

«Да дай ты женщине поспать, – раздался высокий и резкий мужской голос за мной. – До Посушья мы раньше четырех утра не доедем».

Следя за этим, на первый взгляд невинным, обсуждением, все пассажиры оживились. Одни обращались прямо к двум господам, начавшим разговор, другие – как бы сами к себе, сетуя на то, какой путь еще впереди. Из темноты неидентифицированных кресел звучали самые разные голоса, одни тяжелые и усталые, другие звонкие и оживленные – и в какой-то момент мне показалось, что и сам автобус заговорил. Я не могла заснуть, потому что прямо за мной сидел самый разговорчивый собеседник и объяснял тонким, напряженным голосом, каким заявляет о себе голодная гусыня, как их однажды всех вывели среди ночи для проверки паспортов, хотя в автобусе была беременная женщина и мужчина с ма-

ленькими детьми. На это некая госпожа спереди, отдуваясь, заявила, что такого с ней никогда не случалось, а она, бывало, ездила с дочерью и тремя внуками, и им всегда разрешали остаться внутри, детей не будили. С сиденья передо мной мелкая фигура прокудахтала: «А где ваша дочка и внуки?»

Тут я поняла, что поспать не удастся. Госпожа с другого конца автобуса принялась комментировать густые ветви своего семейного древа, объясняя неблагоприятную географию и сложную историю просто: «А что поделаешь? Что есть, то есть, приходится ехать. Кто меня спрашивает? Они же мои». На этих словах проснулся разувшийся господин в середине автобуса и тоже высказался: «Уф, а представь, какво мне: дочь с зятем в Германии, другая дочь уехала учиться в Загреб, а у сына фирма в Любляне, он там делает эти, как они называются, ну, типа пластиковые окна и жалюзи и что не...»

«У меня сестра в Австралии...» – добавил хриплый женский голос из темноты.

«А я сестру похоронил в прошлом году. Почки», – ответил разувшийся человек, надеясь, что положит конец состязанию. Бумага побеждает камень. Камень побеждает ножницы. Могила побеждает Австралию.

Однако состязание продолжилось аж до Кореницы. Некоторые гордились похороненными родственниками, другие – утраченными домами. У некоторых были умные дети, доктора и инженеры, которые не могут найти работу, другие на

это отвечали, что живут на двести марок в месяц, имея тридцать лет стажа. Был момент, когда казалось, что та сова, что спала, победила: извлекла, как она выразилась, две опухоли из живота, а два года назад и всю матку. Снимает угол, живет продажей лотерейных билетов. Дочку бросил муж. Шах и мат.

Я в состязании не участвовала. Мне нечем было гордиться. Я здорова, еду из Ирландии, у меня есть Майкл, и я направляюсь в Мостар, потому что у меня есть деньги заплатить за Лейлины прихоти. Неважно, что этим требованием она мне дала под дых. Как мне состязаться с их мертвыми, их руинами и мизерными пенсиями? Лейла бы, может, и смогла. Нашла бы способ посрамить их всех и при этом ни на миг не пожалеть себя. Мне почти захотелось, чтобы она была здесь, рядом со мной.

Однажды мы вместе поехали на море, автобусом, сразу после поступления. Пока все еще было в порядке. Она прислонилась спиной к окну, а вытянутые ноги положила мне на колени. Произнесла шепотом: «Я слушала, как плачут в ночи невидимые поезда», – я посмотрела на нее с недоумением.

«И не мечтай», – сказала я; я почти спала. А она только улыбнулась, переполненная собой и собственным превосходством. Правила игры должны соблюдаться в любое время и в любом месте.

Я сбросила с себя ее ноги и тихо встала, пытаясь по-

сле многочасового сидения вернуть ток крови по онемевшим бедрам. Остальные пассажиры спали, снаружи царила полная темнота. Я пробиралась между креслами неслышно, словно охочусь за их душами, и взглядом искала хоть какую-нибудь книгу. Уснувшие руки одних лежали на раскрытых таблоидах, другие держали сумки или веера. Я нашла то, что искала, в другом конце автобуса: книга торчала из рюкзака какого-то прыщавого парня. Для человека, который совсем недавно читал Киша, он спал слишком спокойно.

Я вернулась на свое место и прошипела: «Мансарда», – а потом закрыла глаза и провалилась в сон.

Мой папа велел нам сесть в середине автобуса, это самое безопасное место. Поэтому назло ему мы нарочно заняли самые последние кресла, хотя он этого не узнал бы. Там было достаточно места для ее ножищ. В тот год мы ехали на остров. Вспомнила и тот день на пляже, когда подумала, что она утонула.

Я почти видела ее рядом с собой, в этом новом автобусе, который вез меня к Мостару, к какой-то более старшей Лейле. Я слышала, как она сообщает какую-то драматическую ложь группе мрачных пассажиров. «Моя мать слепая. Вырастила нас, не имея зрения». Она могла бы брякнуть любую похожую глупость, только бы победить в их бессмысленном состязании. Стать некоронованной королевой автобуса Загреб – Мостар. Я просто сидела и смотрела на черные деревья за окном. Время от времени какой-нибудь домик вспа-

рывал мрак освещенными занавесками. В Дублине я чувствовала, что могу удрать в самый конец города, но невидимая резинка, как всегда, натянется и вернет меня к Майклу, как рогатка, куда бы я ни ушла. Сейчас уже миновала полночь, мы – где-то между Кореницей и Удбиной, а резинка настолько растянулась, что перестала функционировать, обвисла. Скоро растянется еще больше, но не достанет до Боснии.

А когда на нас обрушился ливень, я самоуверенно подумала, что и это из-за меня, из-за Майкла и Лейлы, из-за колес, которые начнут скользить и закончат эту историю. Нас вывели из автобуса и построили в очередь перед белой будкой, в которой сидела полная женщина-полицейский с оранжевыми губами. Теперь мне были видны лица моих сов и гусынь, которые часами не смолкали в темном автобусе, лица, искривленные судорогой, будто так они меньше вымокнут; на них – глубокие морщины, как русла рек для раскисшей и растекающейся косметики, кулаки – глубоко в широких карманах. Один человек напялил на голову пластиковый пакет. Другой безуспешно попытался закурить сигарету. Когда мы вернулись в автобус, разговоров больше не было. Смоченное дождем унижение вынудило их притихнуть. Только иногда слышался тяжкий вздох то там, то здесь, будто исходящий от измученного животного, которое наконец-то нашло укрытие. Водитель включил радио – повтор вечерних новостей. Председатель какого-то правительства, то ли с од-

ного, то ли с другого берега реки, говорил о создании новых рабочих мест.

«Это нас по крайней мере подсушит», – громко произнес разувшийся мужчина, на что несколько вымокших пассажиров тихо засмеялось. А потом все снова замерло, утроба автобуса стала бесплодной, почти нечеловеческой, как мокрые туфли под влажным сиденьем.

Сказать этим печальным людям, что я оставила своего неопрятного бога с босыми ногами, на исцарапанном паркете в квартире без занавесок? Сказать им, как я к нему вернусь, разумеется, я вернусь, с чего они взяли, что не вернусь? Сказать им, как иногда я представляю себе, как сдираю с нее кожу? Она лежит на своем диване, снова не имеющем цвета, я сижу на ней и сдираю кожу с ее лица, но безуспешно. Под ней всегда что-то новое. А она просто смотрит на меня и кричать не собирается. Словно ее удивляет, даже веселит моя агрессия, словно она говорит мне взглядом: «Да неужели ты думала, что мы с тобой из одного материала?»

[Смерть сначала постепенна, а потом скоропостижна. Собаки вначале умирали одна за другой. Их безжизненные тела, зимним утром еще теплые, следовали одно за другим неумолимо и предсказуемо, так же как среда безошибочно следует за вторником. Мы находили их, лежащих на боку, еще до утренних новостей. Неподвижный язык, вывалившийся из безобидных челюстей вместе со всей их бедной

нечеловеческой жизнью. Но все-таки жизнью.

Началось с собаки госпожи Ристович.

«Сербская трехцветная гончая! – кричала она через забор. Пальцем показывала на покривившийся крест, воткнутый в холмик земли перед домом, и пронзительно голосила: – Сербская трехцветная гончая! Самая редкая порода! Такое только завистливым скотинам может прийти в голову!»

В то время кресты вырастали и расползались, как бурьян: во дворах, на зеркалах заднего вида, на толстой шее нашего учителя химии или вытатуированные на руке отца нашего одноклассника Митара – тот как-то раз пришел на родительское собрание, и все его слушали, будто он президент, – а все из-за татуировки. И собаки, разумеется, были православно-го вероисповедания, и их провожали в последний путь соответственно обычаю; ну и что, что поп Чедо отказался хоронить Лукаса, брюзжала госпожа Ристович, кто сказал, что порядочные люди не могут ставить крест там, где им захочется? «Что же, может быть, это позор – быть сербкой?»

Мы всегда возвращались из школы по ее улице и, стараясь, чтобы она не заметила, смеялись всякий раз, когда она кричала «скотинам» вместо «скотам». А нам было жалко Лукаса, о котором теперь выяснилось, что он был трехцветной гончей, и очень редкой, хоть никто никогда и не видел, чтобы он охотился. Господин Мичо, живший с двумя немymi дочерьми в доме без фасада, сказал, что Лукас на самом де-

ле был *югославской* трехцветной гончей, на что госпожа Ристович ответила, что и он, и Югославия могут проваливаться на три буквы.

«Ты что думаешь, его эти сволочи убили за то, что он югослав?» – спросила она, сверкнула глазами и криво усмехнулась, словно только сейчас ей, и исключительно ей одной, открылась великая Истина, недоступная нам, простым смертным, у которых нет ни мертвой собаки, ни креста во дворе.

«Ладно, мать, не говори глупостей», – сказал господин Мичо, сгребая снег со своей «Лады».

«Ха, я говорю глупости! Ты что думаешь – это случайно? Эти сволочи потравят и нас, когда мы спать будем. Сначала сербских собак, а потом сербов. Да что тебе говорить», – сказала госпожа Ристович, прищурившись через забор на нас, а особенно на тебя и твои новые кеды с двуцветными шнурками, как будто это ты задушила ими бедного пса. А господин Мичо лишь бросил на нас заговорщицкий взгляд и вернулся домой, потирая замерзшие руки.

Но вскоре после Лукаса погибли и другие собаки: пекинес госпожи Талич, бульдог из запущенного двора рядом со школой, некрасивая борзая моей соседки. Меньше чем через семь дней в нашем населенном пункте не осталось собак – их заменили маленькие несуразные могилки и печальное мяуканье ничейных кошек. Даже господин Мичо перестал шутить. Просто помахивал нам рукой, когда мы возвращались из школы, а он возился со своей любимой «Ладой».

Мы шли к заброшенной фабрике соков, пробираясь в резиновых сапогах через сугробы на тротуарах. Это была та суровая зима накануне твоего одиннадцатого дня рождения. Ты получила менструацию и новое имя, а я, хотя и была на восемь месяцев тебя старше, – ничего.

«А тебе больно?» – спросила я осторожно.

Ты пожала плечами, давая понять, что такое невозможно объяснить нам – сухим девочкам. Ты была другой. В твоём поведении была своего рода неприкосновенная мудрость, подразумевающая, что ты ведешь, а я сопровождаю, как будто мы принадлежим к разным отрядам приматов. Кровь дала тебе власть над всеми нашими решениями – куда идти, что делать и как себя вести. Я попыталась тебе напомнить, что я старше и, соответственно, должна отвечать за нас обеих, но для тебя кровь была по иерархии выше, чем просто возраст. А когда я сказала, что твое новое имя не настоящее, потому что на самом деле у тебя есть другое, ты и глазом не моргнула.

«Ты со своим тоже не родилась, – сказала ты. – Ты его только потом получила».

До вчерашнего дня ты была Лейлой, без крови и чистая, как и я. Сейчас в нашу дружбу влезла эта проклятая Лела, у которой есть менструация и которая не хочет мне про нее объяснить. Я ее ненавидела. Твоя мать кухонным ножом устранила букву *z* из вашей фамилии на входной две-

ри и приклеила на ее место букву *p*. Она была латунной и, новехонькая, блестела в середине твоей фамилии, унижая остальные буквы. Ты стала Лелой Берич, просто так, как будто это возможно без того, чтобы кого-то о чем-то спрашивать. Я попыталась уговорить родителей переименовать меня в Дженет. Я была бы популярна в школе так же, как Джексон в том черно-белом клипе, когда она появляется в стеклянной двери, а все вокруг теряют дар речи. Ты бы умерла от зависти. Мать, однако, сказала, чтобы я не болтала глупости, дженет – это мусульманский рай, я что, хочу, чтобы кто-нибудь переломал мне кости, я что, ненормальная?

«Скажи мне. Это очень больно?» – настаивала я.

«Ну, так... как будто у тебя в животе какой-то шар и он давит».

«А много... ну, крови?»

«Немного»

«Сколько?»

«Не знаю, может, стакан».

«Стакан для сока или стопка для ракии?»

«Как ты мне надоела, Сара! Откуда я знаю? Хочешь посмотреть?» Я тут же замотала головой, так энергично, как могла. Днем раньше, когда Митар порезал палец и заплакал посреди урока математики, ты сказала ему, что он бедненький, но у тебя кровотечение в десять раз больше, а ты не плачешь. Тебя выгнали с урока. Поэтому я знала, что ты могла

бы там, за зданием фабрики соков, снять колготки и трусы и показать мне свою кровь. Я быстро сменила тему.

«Что тебе сказал Армин?» – спросила я.

«Ничего»

«А ты ему сказала, что у меня еще ничего нет?»

«Матьер милосердная, с чего бы мне ему это говорить?»

«Какое ему дело до моих подруг?»

«Ну, я просто спрашиваю... Но ты ему не говори».

«А что мне ему говорить?»

«Неважно. Только не говори ему. О'кей?»

«О'кей, Сара... Я и не собиралась».

Ты бы этого не поняла. Это твой брат. А я хотела тебе рассказать. О том, что произошло под вашей черешней в тот день, когда умер сеттер господина Радмана. Я пришла за своей тетрадью по Закону Божьему, из которой ты переписывала молитвы, потому что ты не посещала эти уроки. Тебе каким-то чудом удалось избежать Закона Божьего, который всем остальным приходилось терпеть два раза в неделю. А потом тебе, загадочно и незаконно, вдруг дали новое имя, и преподаватель сказал, что ты можешь к нам присоединиться, после того как усвоишь пройденный материал. Я, по правде говоря, не хотела, чтобы ты ходила на Закон Божий. Это был единственный предмет без тебя, что-то настоящее и только мое. А теперь все закончится. Полчаса за переписыванием моих молитв – и дело в шляпе. Придешь на урок и будешь знать все то же, что и я. Какое там, будешь

знать даже больше, потому что я упускаю какие-то мелочи, скрытые значения, а у тебя от природы есть для них сенсоры.

«Что значит *чрево?*» – спросила ты меня на большой перемене, растерянно глядя на молитву из моей тетради.

«Откуда я знаю?»

«Разве вам учитель не объяснял?»

«Нет, – ответила я. – Ты просто выучи наизусть – и готово дело».

«И это... – Она перелистнула несколько страниц и прочитала: – *Видимого всего и невидимого*. Что это за невидимое? Воздух? Внутренние органы?»

«Если ты хочешь ходить на Закон Божий, тебе нужно прекратить задавать дурацкие вопросы, – сказала я, а ты закатила глаза. – И прошу вернуть мне тетрадь до выходных».

Последняя просьба, разумеется, была полностью проигнорирована. Мне не нужна была тетрадь, ты могла вернуть ее мне в школе. Но я боялась, что ты, если проведешь слишком много времени читая молитвы, придешь на урок и будешь делать вид, что очень умна. Поэтому я решила пойти к тебе без приглашения и потребовать тетрадь назад, холодно и гордо, как какая-нибудь нестигаемая мученица.

У вашего дома был общий забор с учителем биологии, от которого разило грушевой ракией и который любил теревить и трепать твои косы. Я смотрела на его маленькое окно, по-

ка открывала твою калитку – ржавый механизм, с которым я и в полночь могла справиться одной рукой. Как-то раз он, эта пьяная жаба, сказал мне, что я должна брать пример с тебя, после того как поставил мне в дневнике тройку по биологии. От калитки до ваших дверей было всего десятков шагов, но этого хватило, чтобы я вспомнила все причины, по которым была зла на тебя: учитель биологии, Закон Божий, моя тетрадь, которую ты должна была как минимум вернуть *мне*, и это прилепленное блестящее *p*, которое издевалось надо мной с поддельной фамилии на вашей входной двери, – все это заставило меня вместо легкого стука три раза ударить кулаком по двери.

Армин открыл так быстро, что я подумала, а вдруг он все время стоял перед дверью и наблюдал через глазок, как я злюсь? Стоило мне его увидеть, я сразу забыла, на что злилась, – его присутствие напомнило мне, почему по-прежнему есть смысл быть твоей подругой. Я могла бы прийти когда угодно, открыть калитку, сделать десять шагов по двору и постучать, потому что ты и я, в конце концов, самые близкие подруги. А он будет тут, он и его ладони, испачканные красками, кончик среднего пальца левой руки, опухший и черный из-за того, что постоянно держит толстый фломастер для эскизов. Каким невероятным казалось мне тогда то, что у кого-то есть брат, который живет, ходит, ест и спит там же, в том же месте, что и ты, кто-то, кто тебе не отец, не мать, не товарищ, кто тебя знает лучше всех, хотя ничего о тебе

и не знает.

«Лейла ушла на шахматы», – сказал он мне.

«У нее моя тетрадь по закону божьему», – объяснила я серьезно, как только могла.

В доме стояла тишина, ваша мать была на работе. Армин и я вместе вошли в твою комнату. Я была там сто раз, но без тебя комната выглядела иначе. При нем мне было стыдно из-за твоего беспорядка, как будто это каким-то образом бросает тень и на меня, потому что мы подруги и одного возраста.

Помню большой плакат с Дженет Джексон, который ты позже заменишь зеркалом, помню вывернутые наизнанку пижамные штаны, растянувшиеся на смятом постельном белье, как уличный бродяга, помню, что под твоим письменным столом опасно покачивалась башня из комиксов, от которой нам перед поступлением придется избавиться ради душевного равновесия твоей печальной матери, помню шахматного коня на твоей полке, где несколькими годами позже появится фотография Армина на пляже, помню и то, что два носка, один клетчатый, другой белый, сидели на стуле, охраняя твой престол от нежелательного узурпатора.

Мне хотелось выйти оттуда как можно скорее. В хаосе на твоём письменном столе Армин нашел мою растрепанную тетрадь и протянул мне. В рубашке и брюках он был похож на вашего отца – или, по крайней мере, на фотографию вашего отца на горке с фарфором. Его глаза блуждали по твоей

комнате без всякой реакции, иногда останавливаясь на моем высоко завязанном «хвосте». Я хотела запомнить его таким – отглаженным и спокойным, – чтобы слова моего отца были посрамлены и разбиты этими неоспоримыми доказательствами.

Папа сказал, что, вероятно, это Армин и *его хулиганье* отравили соседских собак. Сказал, что сформировалась какая-то банда, что одного из них уже задержали за рисунки на фасадах и что они шляются туда-сюда, как бездомные псы, и неизвестно чем занимаются.

«Теперь его зовут Мар-ко Бе-рич, к вашему сведению, он больше не Армин», – добавила, нахмурившись, моя мать, как будто в первый раз услышала, что кого-то зовут Марко, передавая отцу через стол золотистую курятину.

«Марко Берич», – повторил с отвращением отец и взял с блюда еще одну жирную куриную ножку. Обгладывал он ее, по-прежнему нахмурившись, а я не решалась ни возразить ему, ни спросить, с чего бы Армину было травить чью-то собаку. Я ничего не сделала, Лейла. Я молчала и ела.

«Это та?» – спросил меня Армин, глядя на тетрадь так, будто впервые видит предмет такого рода. Теперь мне следует уйти, подумала я. Но мне не хотелось. Мне понравилось то, как он на меня смотрел, будто и мне шестнадцать лет и у меня есть менструация. На твоём письменном столе, рядом с маленькой фиолетовой настольной лампой без лампочки,

лежала жемчужная сережка. Я схватила ее и сунула в карман, пока Армин не видел, настолько автоматически и точно, словно в этом и заключалась цель моего визита.

«Можно я выйду во двор? Мне кажется, я потеряла сережку, там, под черешней», – соврала я.

Про себя я уже придумывала способы, как тебе это пере-сказать, чтобы объяснить исчезновение твоей сережки, од-новременно понимая, что никогда не смогу это сделать, по-тому что ты все поймешь. Прочитаешь меня как телефон-ную книгу и больше не позволишь приходить к тебе. А ведь мне придется, правда? Мне нужно будет дать какое-то объ-яснение. Что, если ты скажешь им, маме и Армину, за ужи-ном, что не можешь найти свою сережку? Что, если твой брат узнает, что я обманщица, у которой даже менструации-то нет?

Я шла за ним путем, который ведет за ваш дом, сережка в моей потной ладони стала горячей, я была уверена, что че-рез маленькое окно дома напротив за мной наблюдает воню-чий учитель биологии. Этот увидит все, подумала я. Выдаст меня, подлый боров.

Армин шел прямо, по-взрослому, а я за его спиной дела-лась позорно маленькой. Держал руки в карманах брюк. Во-лосы у него были как твои – темные, нечесанные, как будто кто-то их забыл на его голове. Когда мы дошли до старой че-решни, он достал из кармана сигареты и закурил одну.

«Это же вредно для здоровья!» – вырвалось у меня, и в тот

же миг я пожалела. Какой же душой я могу быть!

«Вредно для здоровья маленькой девочке завязывать хвост».

«Неправда. Это ты выдумал».

Он улыбался, как будто ему была очевидна какая-то шутка, которая от меня ускользнула. Я попыталась понять, что происходит. Я сказала неправду – и сейчас я с Армином. С Армином. Я в его дворе, в вашем дворе, и мы разговариваем. У нас *разговор*.

«Кроме того, я не *маленькая девочка*».

Тогда он и сделал это, то, о чем я никогда тебе не сказала, даже много лет спустя, когда мы похоронили Зекана и когда никто больше не помнил о той сережке. Я тебе никогда не призналась, что той зимой, когда у тебя началась менструация, твой брат распустил мне волосы. Он приблизился ко мне настолько, что я могла рассмотреть шрам на его щеке. Когда-то давно ты сказала, что это у него после падения с велосипеда, он вернулся домой весь в крови, а твоя мать причитала, что он такой незрелый, имея в виду, что в доме он единственный мужчина, должен быть осторожнее. Сейчас шрам оказался невероятно близко от меня, поднимись я на цыпочки, могла бы прикоснуться к нему языком. Никогда раньше я не была в такой близости от мужской рубашки. Она была чистой и подкрахмаленной, пахла лимоном. Отец носил полицейскую форму и не позволял нам даже прикоснуться к нему перед уходом на работу, чтобы ничего не помять.

Сейчас я могла изучать ее нити, *мужской рубашки*. Она была мягкой, хотя я и не могла до нее дотронуться. Мягкой для глаз. Армин, с сигаретой во рту (дым лез мне в глаза, но я не хотела их закрывать), прищурился, будто решал, какой шахматный ход сделать теперь, и обеими руками потянулся к моей резинке для волос. Склонился надо мной, как дерево. Стянул с моей головы бандану и развязал «хвост». Он был нежен, словно ему не впервой делать такое. Волосы рассыпались вокруг головы. А я подумала, что мне не двенадцать, а сто двенадцать лет и что весь этот век я провела, ожидая, что Армин Бегич распустит мои волосы.

Он отошел на несколько шагов и прислонился к дереву, чтобы лучше рассмотреть меня. В тот момент он был настолько похож на тебя, что мне стало неприятно.

«Видишь. Так лучше. Как Венера».

«Как что?» – спросила я. Но он только бросил сигарету, загасил ее подошвой и посмотрел в траву.

«Где эта твоя сережка?»

Я по-быстрому пригладила волосы потными ладонями, пока он был занят поисками моей лжи среди клевера. Во всей этой кутерьме я забыла про сережку в своем кармане. Хотела достать ее и бросить в траву, и тут сзади раздался твой голос:

«Ты только посмотри на них!»

Я чувствовала себя так, как будто стою в вашем дворе голая. Медленно повернулась, стараясь расправить растрепан-

ные волосы за ушами, и встретила с твоим взглядом. Ты стояла, прислонившись к дому, с тремя бананами в руке и, прищурившись, подозрительно смотрела на нас.

«Как Адам и Ева», – сказала ты.

Я показала тебе язык. Вы улыбались, как будто знаете все, что можно знать на этом свете и что я никогда не выучу. Вы были одинаковыми: кривая улыбка, низкие брови, плечи, как у орла-стервятника, под торчащим темным кустом волос. Непередаваемая мудрость в темных глазах, знание, перед которым я всегда останусь маленькой. Вы были одинаковыми, но все-таки ты не была такой нежной. Ты вырывала, толкала, била и отталкивала ногой. Ты истекала кровью. Как какая-то уменьшенная и звериная версия Армина. Я стояла на вашей территории, бессмысленно, как светофор посреди леса. Я посмотрела вверх, на периферии зрения что-то мелькнуло. Учитель биологии вышел на балкон развесить свое неказистое белье. Он смотрел прямо на меня, как будто все знал.]

4.

Не могу, даже ради истории – ее истории, – вспомнить, как я нашла маленький этноресторан, в котором она работала. Помню только, что Мостар сверкал, как полированная джезва, хотя день был необъяснимо хмурым, несмотря на невыносимую жару. Помню туристов и их синтетические зонты от солнца. Они были раскрыты по всему Старому мосту, как венок из пластмассовых цветов на каком-нибудь важном кладбище.

Я увидела ее до того, как поняла, что смотрю на нее. Перед низкими деревянными воротами ресторана пара розовокожих туристов фотографировала официанток в национальных костюмах. Одна из них вытянула губы и послала неслышимый поцелуй в айфон толстой австрийки. Другая, с улыбкой, автоматически скроенной для фотографии, смотрела вниз, на двух толстых кошек, которые прямо возле ее деревянных шлепанцев наслаждались брошенным ребром какого-то менее удачливого животного. Она наблюдала за ними так, будто завидует, что они на полу, с набитым пузом и с жирными усами, совсем голые, в то время как она парится в роли жены бега, одетой в наряды трех разных веков. Худоватые ноги вырисовывались под тяжелыми пастельно-голубыми шароварами, расшитыми золотыми нитями. Под белой рубашкой из плотного хлопка проглядывал красный бюст-

гальтер фирмы «Вандербра» – она забыла застегнуть украшенную вышивкой безрукавку и тем самым допустила хронологическую небрежность. Коса из обесцвеченных волос, забранная вверх, поднималась по фиолетовому бархату и исчезала под красной феской, с которой свисал измятый платочек. Стояла вот так, очарованная этими дворовыми кошками, как «Космополитен»-версия «Ханы Пехливаны»², без чадры, без своего капитана, без стихов, а вокруг нее прыгивали мелкие официанты-беги, официанты-торговцы, с парижскими шницелями и жареной картошкой на круглых резных подносах. Тогда я ее узнала. Красные губы в улыбке, скроенной для случайного фотоаппарата, мелкие родинки совсем рядом со слишком обильно накрашенным глазом, вдруг поднятый локоть, чтобы энергично почесать подмышку под потным хлопком – это была она, это была Лейла, по-прежнему роскошная под вульгарным реквизитом, по-прежнему упрямая и потная и из *этого*

² «Хана Пехливана» – песня боснийских мусульман в жанре севдалинки – любовного городского фольклора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.